

Лотта Гесс

Линия антарктической конвергенции. Бука

Рассказы

Озёрное время

Глава 1. Меня нет

В семь тридцать утра по Озёрному времени мама ушла на автовокзал работать буфетчицей. Мягко хлопнула дверь. Через триста туманных каменистых метров, через десять влажных холодных минут озябшая мама погрузится в дребезжание и пыхтёж, в сонное раскачивание и свежий бензинный дух, в «Красную Москву» пухлых ситцевых соседок. Хищный тупой компостер оправдывает ее билет.

Щелк! Бука проснется по-настоящему и посмотрит в далекий беленый потолок. Поздно вечером она парила под ним, раздвигая руками желтеющий воздух, и отчаянно вопила: посмотрите, как я умею! Но большие не обращали на нее внимания. Будто ее вовсе не было в этой старой накуренной «зале», и она не трогала жухлой, простреленной шампанской пробкой известки. Потом мама будто что-то заметила, оглянулась, закинула голову и крикнула: Бука, что ты делаешь! Это нельзя, так нехорошо, слезь оттуда немедленно!

— Отку-у-да? — хитро и победоносно спросила висящая вниз плечом Бука, — откуда? — и засмеялась.

Потом Озёрному времени надоело считать. Оно проскользнуло в невесомый тюль, в прохладную липовую темноту и скрылось по своим временным делам. И все пропало до утра.

Бука пошевелила затекшим пальцем, стянула одеяло и бросилась в соседнюю комнату.

— Ты видел, как я вчера летала?

Мутный сонный глаз открылся и захлопнулся.

— Ты видел?

— Ты дура тупая, отстань, я спать хочу!

— Видел? — прыг! — Видел? — прыг — Видел!!! — прыг! — натужно кричал панцирь.

Лотта Гесс (Лотта Сердюцкая) родилась в 1986 году в Биробиджане. Окончила областной колледж культуры и Литературный институт им.А.М.Горького. Печаталась в журнале «Знамя». Живет в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Жорка схватил Буку за плечи и затряс, как дюжий кондуктор тщедушного безбилетника.

— Больше никогда! Слышишь? Никогда так не делай, тупая, уродливая свинья, а то станешь такой же, как она! Ты уже такая! Я видел, как вы с Кристинкой показывали друг другу писки в коридоре!

— Ты врешь! Только тетя Соня видела, она никому не скажет!

— Видел! Видел! Видел! Тетя Соня — старая курва, старая вонючая падла! Папа вернется, и мы вас всех обоссим!

Жорка взбодрился и отправился завтракать. Бука лежала под трельяжем, всхлипывала и пускала длинные зеленые сопли.

Ночью маме снился такой сон. Кто-то пришел и сказал, что Бука умерла. А маме не в чем ее хоронить: Бука росла-росла-росла и к смерти выросла из всех колготок. Остались одни старые розовые гольфы. Мама достает их из шкафа, идет наряжать мертвые Букины ноги, а они такие длинные, что розовые гольфы выглядят как носки, и мама плачет-плачет-плачет, потому что перед соседями будет стыдно.

И Буке под трельяжем стыдно. Но еще ей жалко, невыносимо жалко — вот мужики несут по Озёрке красную бархатную лодочку с Букой; и Жора, и папа с мамой, и тетя Соня плачут-плачут-плачут, и Бука тихонько плачет потому, что не может их утешить: взять и вылезти из гроба — так нельзя, это нехорошо, залезь туда немедленно, грязная вонючая свинья, раз уж была добренька откинуть копыта.

— Бука, иди жри, а то льдом покроется! — Дверь лихо саданула, и деревянная лестница, содрогнувшись, как потрясенная скала, стала принимать обратно серые пылинки тишины.

Жрать не хотелось. Слезы высыхали, стягивали и щекотали щеки, но это было приятно. Время, как котенок, лежало с ней на ковре, смотрело в потолок и тоже думало: а может, меня вовсе нет? Вдруг — все это — просто злая сказка? Ведь не может же быть такой нелепицы — я лежу тут, в их бредовом пространстве, и что-то отсчитываю. Но что? И зачем?

Из расщелины шкафа остро потянуло Озёрной водой.

Глава 2. Озеро

Бука вошла в туман, как в дом. Где-то были стены, но они были далеко, и все они были внешние, немые. Она видела свои ноги, зацыпканные тощие ноги в коричневых сандалиях. Ноги шли по мягкой мокрой траве. Вокруг качались пухлые лиловые колокольчики сон-травы, нежно касались кожи. Китайские колокольчики сон-травы тихо звенели, повесив головки, пели про Императора-солнце, что никак не взойдет. Какие же вы глупыши, ведь вы не подымете головок, когда взойдет Император! Вы не посмеете взглянуть на него, вы замолчите от страха, что он сожжет ваши подданные головки! Туман вернее, он — ваша мать, он поит вас прохладным росистым молоком, дает вам слезы плакать по Императору, скрывает от жадных детских рук.

И когда я дойду до Озера, оно нежно прильнет к моему телу, и скроет его, а туман окутает голову, и никто-никто не увидит, куда я плыву — и не скажет — КАК это. Это будет никак — все, происходящее тайно, да будет — никак.

В траве сидел кузнечик. «Простите, вы не знаете — как пройти к Озеру?».

Кузнечик задрал голову и обнаружил толстые рыжие усы.

— Да хрен его знает! Туман этот проклятый...

— Врете вы! Дурак, ничего не знаете — туман с Озером заодно, они вместе делают человеку Никак!

Кузнечик подло засмеялся, усы его нестерпимо засияли, как жестяная банка для червяков. У Буки заболело в глазах, и она проснулась на ковре, в круглом горячем пятне — это взошел Император.

Глава 3. Песок

Просторной северной кухней правила суровая боярыня Скворода. Озёрное время подарило ей шершавый черный панцирь, и ни одна ничтожная щетка не могла лишить ее этих заслуженных доспехов. «Бу-у, марамойки! — гудела боярыня при очередной безуспешной атаке. — Сыми с меня шубу — дак кто я буду? Старуха без портов? Срамота!»

Но внутри она блестела серебряным морем. Архипелаг Яичница был усыпан зелеными голышами горошка, а одна горошина угодила в самый подернутый нежной пленкой ярко-оранжевый кратер. И если достать эту горошину языком, можно...

— Букенция! Букашо!! Бука-ан! — заорало снизу низкорослое желтогривое чудовище.

— Чо? — спросила Бука, высовываясь на полподоконника и прожевывая сразу почти весь архипелаг.

— Пошли ко мне! Хватит жрать. Бабка на рынок уползла.

— Щас.

Бука скрылась, но Степан заорал пуще прежнего:

— Бу-у-у-ук?

— Чо?

— Ты это... Киселя возьми.

— Щас.

За высоким степановским забором наливались розовым соком крупные прозрачные вишни. Выглядели и пахли они хорошо, и это было странно, потому что бабка Степановна любила кричать, что вскормила их своим потом и кровью.

— Стёп, а что значит «вскормить потом и кровью»?

— Не знаю. Она даже про меня так говорит. Что папа с мамой в командировках, а она меня... того. Ну, это она врет! Никакого я ее пота не ел, и вишни — тоже, так что жри, будь добренька, — ответил Стёпа с набитым розовой кисло-сладостью ртом, и они засмеялись.

Но у Буки пропал аппетит. И все вокруг как-то посерело и поскучнело.

— Император зашел...

— Какой еще Император?

— У меня в одной книжке написано, что солнце — это Император.

— Во ерунда.

— Я тоже так думаю. Император же делает, что хочет, когда хочет, а солнце появляется и пропадает, когда посмотрит на часы. Или когда тучи набегут, вот как сейчас...

Стёпа оторвался от вишен. Он лег в огромное черное колесо, зажевал травинку и уставился на скученные серые облака. Они то закрывали солнце, то уносились от него, словно сами не знали, чего им надо. И когда на вишни падал широкий косой луч, ягоды блестели и переливались, а темные бархатные листочки освещались, как изнутри, и меняли цвет. Пахло нагретой резиной, сухими дровами и малосольными огурцами — от гигантских укропных зонтов вокруг колеса.

— Пошли в песочницу.

Бука, лежащая в другом колесе, была погружена в сосредоточенное безмыслие — она нюхала свою жизнь.

— Мы что — маленькие? И у меня все ведра и совки уже в сарае.

— Ну и дура. Не только маленькие лепят из песка. Мы с мамой были в Анапе прошлый год, так там кто только не лепил. Даже самые старые старики. И русалок, и замки, и вообще — города! И ведерки твои нафиг не нужны.

— Врешь...

— Я вру?! Это ты все-то врешь, всегда все врешь и сочиняешь, как Мюнхаузен, а я только чистую правдочку!

Буке надоело лежать, она вскочила, запрыгала вокруг колеса на одной ноге, повергая ниц потокровный укроп Степановны и кривляясь:

— Правдочка-правдочка, чистенькая правдочка, правдочка-корявдочка!

Стёпа перевернулся на живот, мостиком повиснув над дыркой колеса и вдыхая пряный резиновый дух.

Буке стало совестно. Она села на корточки рядом и осторожно погладила его по голове, отчего он нервно дернулся.

— Стё-о-оп... Стёп, ну я не нарочно, я больше не буду. Ну, пошли лепить, а? Только что? Может, снеговика?

Степан перевернулся и захохотал:

— Ты что? Какого еще снеговика из песка? Песковика, что ли?

— Сам ты песковика. Тогда я вообще ничего не буду лепить из твоего дерьмового песка.

— Ну ладно, Бук, слушай че. Мы будем лепить завод. Там же вообще просто: тятяп, там же много маленьких и больших квадратных домов, забор и трубы, и все!

— Слу-у-ушай! А для главной трубы я возьму гирлянду из новогодней коробки, вот прикольно будет!

Загоревшись гирляндой, строители побежали было к Букиной двухэтажке напротив, но у самого подъезда Степан остановился и растерянно посмотрел в конец улицы. Там никого не было. Но могла появиться.

— Ты че, Стёп? Никто ж не видит. Ты же сам говорил, что она пока со всеми продавцами не полагается, ни одной морковки не купит.

Степан стоял, опустив голову и вычерчивая что-то сандалеточным носком.

— Ну ладно.

Бука пожала плечами и полетела по ступенькам.

Через час песочного кипенья, буренья, взрыхленья, через короткий, будто совсем не Озёрный, час, посреди сыпучих холмов вырос Папин завод. Не хватало только главной — самой толстой и высокой трубы, трубы, которая уже из мысленного полубытия взывала к волшебной черной проволоке, усеянной крохотными яркими лампочками.

Потому что все законченное да будет украшено.

Вечером вернется с работы веселый чумазый дядя Гена и, уже подъезжая на своем смешном муравье к дому, заметит крохотный осиянный желтым и красным завод и скажет:

— Во дела! Только я с работы, а она меня тут поджидает! И как это ты додумался до такой лампочной красоты?

И Стёпа скажет — это мы с Букой. Я придумал построить завод, а она придумала гирлянду. Ты скажи завтра дяде Толе — пусть возвращается домой, а то Бука плачет.

Стёпа и в самом деле никогда не врет.

— Кто будет строить трубу? Давай я. Мой же папа ее строил. И я гирлянду принесла.

— Так нечестно! Строил-то твой, а мой у него начальник. Не захотел бы — вообще никакой трубы бы не было!

— Ты что, дурак? Труба — самое главное! Не было бы трубы — не было бы завода! И твой папа никакой не был бы начальник, нигде!

— Сама дура! А папа твой — алкаш, мой его скоро уволит!

Буке стало плохо дышать. Она подняла ногу, раздавила завод, сошурив большие глаза до тоненьких яростных щелочек и, глядя прямо на побелевшего Стёпу, прошипела:

— Ты ссышься! Бабка твоя всем говорит — ссышься, ссышься по ночам!

— А ты — вы***док, — спокойно и густо сказала стоящая в трех метрах Степановна. — Стёпочка хоть и ссыкун, а своего отца сын.

Бука мельком взглянула на Степановну и врезала ее внуку так, что тот зашатался и заревел. Степановна зычно скомандовала:

— Вдарь ей, Стёпа! За волосы ее, суку, за патлы хватай! На руку намотай! Вот так! И рожей, рожей в песок! Рожей!

У Буки искры из глаз посыпались: так больно ей еще никогда не было. Она ослабела и упала в песок, а Степан, громко ревя, тыкал ее в руины завода, в желтое месиво, в страшную черную правдочку, и они оба рухнули и полетели в нее, и падали, испытывая нестерпимую боль, а далеко вверху, над самым краем, висела Степановна и отдаленно, но явственно громыкала:

— Так ее! Туда ее, тварь, попомнит мои вишни!

Глава 4. Клаустрофобия

Хотя гром недвусмысленно прочищал горло где-то над ближними сараями, а по радиоволнам шел на разрыв Высоцкий, тетя Соня слышала и рев, и вопли, и проклятия: адская симфония исполнялась напротив ее кухонного окна. В ту же минуту, что она выскочила за дверь, раздался оглушительный треск и хлынул теплый проливной дождь. При появлении тети Сони Степановна охнула и тяжело отпрыгнула за калитку.

— Приперлась, жидовская харя, внученьку выручать? Твоя-а-а, твоя-а-а внученька-то, патлы черные, тощая, как веревка! Исашкина работа! Исашкина работа Толяну-обалдую привалила, Исашкина, земля ему прахом!

Тетя Соня подхватила под мышку одичалую Буку и, сделав пару затяжек, кинула беломорину в степановскую калитку. И сказала, уходя:

— Ты лжешь, безумная.

— Ой! — надрывалась вслед Степановна, не выходя из-за калитки. — Ой, бляха, актриса с погорелого театра! Большую ты пенсию в своем театре заработала? Не зря сиськами трясла? Или у тебя по ночам в примерке была главная роль?

Безумная Степановна еще долго, должно быть, поливала тетю Соню помоями, но они уже ничего не слышали. Бука лежала на красивой пухлой софе в северной комнате и колотилась под всеми тремя одеялами. Тетя Соня уже вымыла ее в ванне, мягко вытерла и обрядила в длинную белую ночнушку. Но Буке было грязно, холодно и мокро.

— Тетя Соня, она врет?

— Врет, врет, — успокоительно сказала тетя Соня. — Все врут.

— И ты?

— Я? Я — нет. Я играю, — тетя Соня улыбнулась и закурила, отойдя, и опустилась в кресло-качалку.

— Значит, тебе можно врать?

— Нет, малыш. Мне нельзя больше, чем кому бы то ни было.

— А мне — можно?

— Тебе можно фантазировать. Что ты и делаешь. Это хорошо, но требует осторожности. Есть опасность — перепутаться в правде и выдумке и остаться между двумя мирами.

— Миров не два.

— Кто тебе сказал?

— Ты.

— С тобой с ума сойдешь, философ.

В коридоре зазвонил телефон, и тетя Соня пошла отвечать.

— Я сейчас вернусь, лежи, будь добренька.

Но если очень долго быть добренькой, можно соскучиться. Недавно вернувшееся Озёрное время обнаружило себя, потянувшись, как осенняя стая, как ночной вой, как инвалидный баян.

— Брысь! — прошептала ему Бука. — Как же ты мне надоело.

С осторожным стуком она открыла белую деревянную раму и села на подоконник, свесив босые ноги в теплый грибной дождь, в крошечный край-сад, в пьяный земной дух.

Далеко-далеко голубела полоска неба, катился едва слышный игрушечный поезд, зеленело чисто поле. Ближе блестели белой жостью гаражи, мокли некрашенные сараи и пузырилась сплошь поросшая аптечной ромашкой земля. Совсем близко росла старая коричневая липа. Липа росла всю Букину жизнь. Поэтому она не умирала, хоть и была стара, как притча.

Под липой росли белые цветы — клаустрофобии. Однажды вечером Буке захотелось полакомиться нектаром, и она залетела в самую крупную и ароматную клаустрофобию. Нектар был на вкус почище шоколадной пасты и бубльгума, и Бука так нажралась, что не могла встать. В те минуты она, помнится, жалела, что Степана нет рядом. Она лежала, блаженно растянувшись на плотном нежном лепестке и подумывала, что это отличное убежище от котов и птиц, и здесь можно неплохо вздремнуть.

А пробуждение было одним из самых страшных в жизни — внутри туго сомкнувшегося кокона лепестков, без воздуха, без света и звука. Она стала биться в резиновые стены, но они мягко отбрасывали ее невесомое тело назад, и все билась и кричала, но даже сама себя не слышала. Папа спас ее: он обманул клаустрофобию, близко-близко поднес ночник, и дура-клаустрофобия, подумав, что это Император, раскрыла свои предательские лепестки.

Бука вцепилась в папу руками и ногами и долго плакала, не умея вымолвить ни слова. Потом спросила: Как ты узнал, что я там?

Папа улыбался и гладил взъерошенную букину макушку. — Ааа, ты увидел, что она качается, да? Что она раскачивается, когда я в нее снутри бьюсь? Да?

— Да, малыш. Я сразу это понял и побежал к тебе.

— И как ты догадался с лампой! Ты, папочка, самый умный в мирах.

Но это было очень давно. А сейчас Бука грустно поглядела на них и сказала:

— Вы злые и глупые. Ваша красота предает бабочек... Хотя бабочки сами шизанутые — лезть в пасть смерти ради какого-то паршивого нектара... У них, небось, и пап-то нету.

Бука перевела взгляд и обнаружила: дождь кончился, а к липе привалился мокрый побитый Степан. Он глядел себе под ноги и молчал.

Глава 5. Велосипед

— Пришел?

Степан кивнул.

— Че скажешь?

— Я скотина тупая.

— Еще?

— Гнида подзаборная.

— Еще?

— Еще лампочки бы не горели... — в голосе его булькали слезы... — Удлиителя бы... не хватило все равно... Бу-у-ука....

Он сполз по стволу на землю, закрыл лицо руками и зарыдал.

Бука спрыгнула в сад, встала на колени и крепко прижала его голову к лицу.

— Стёпочка, я наврала... Она не всем говорит, только твоей маме, я случайно услышала... я больше никогда... я тоже иногда по ночам... ты хороший, это я свинья, и скотина, и гнида шизанутая, слышишь?

— Нет!

Тетя Соня тихонечко отошла от окна и прокралась на кухню — жарить яблочные пирожки примирения.

* * *

Стёпа потянул ее за руку:

— Пошли.

Голос его уже не булькал, а подрагивал, а зареванное лицо просияло:

— Пошли скорей!

— Куда?

— На кудыкину гору! Я велик пригнал — там, на углу стоит.

— Но я же не умею! И бабка...

— Да пошла она в пень! Она с сердцем лежит, притворяется, как всегда. Я же обещал, что научу!

Они взялись за руки и побежали на угол, туда, где привалился к стене новенький красный «Пионер». Он оказался ужасно своенравный — Стёпа держал его изо всех сил, а Бука все равно через два метра сваливалась и набивала шишки. Ночнушку пришлось снять — она спутывала и без того неуклюжие, робкие ноги.

— Ну ты что, как маленькая? Ты же не трусиха! Вот че! Залезай и вцепляйся в руль. Прямо его держи! Я тебя до дороги довезу, а там — айда под наклончик! Сам повезет!

— Под какой еще наклончик?

— Под тот, что к трассе поворачивает. Он самый чутошный, и далеко вообще до трассы! А тормозить ты умеешь. Зато равновесие почувствуешь, это самое главное. Ну?

— Ну... — согласилась Бука не очень уверенно. — Ну давай.

— Да не ссы в трусы! На тебе же больше ничего нету, кроме них, — пошутил Степа и получил по шее.

После чего потащил велосипед с Букой к наклончику.

Небо уже совсем поголубело, и даже начало наливаться здоровой глубокой синевой. Солнце светило так, будто бы извинялось за недоразумение — лакировало булыжники и гальку Озёрных дворов, старательно сушило забытое на веревках белье, осыпало сотнями крохотных алмазов даже самый горемычный придорожный куст. Все дома-двухэтажки по одной стороне, и частные по другой — будто умылись, а теперь еще и согрелись, и поблескивали стеклами, как имениннички.

Стёпа остановился и отдал последние указания.

— Значит так. Ничего не боисься. Держишь руль. Педали можешь не крутить, но ноги на них держи. Через сто метров примерно тормози. Все поняла?

— Поняла.

— И еще...

— Чего еще?

— Я тебя люблю, вот чего.

И земля выплыла у нее из-под ног. Все вокруг полетело вместе с ней, ровно, уверенно, легко, как будто освободилось, наконец, от тягучего Озёрного времени, которое бежало вдогонку и кричало: «Это нехорошо! Так нельзя! Слезь оттуда немедленно!» — Бука хохотала над его посрамлением, и бетонные стены по одну сторону спуска, а высокие сосны — по другую хохотали вместе с ней, и не было конца этому веселью, потому что конец — торжество времени, а где нет времени, да не будет никаких паршивых концов.

Примерно метров через сто до нее дошли последние слова Стёпы, и она в изумлении обернулась через плечо. Стёпа быстро бежал вслед и кричал:

— Тормози! Тормози!

Бука изо всех сил нажала на педали, но они беспомощно прокрутились назад.

— Не могу!

— Тогда сворачивай! Бу-у-у-ка!

Она оцепенела, посмотрев вперед: у недалекого конца бетонной стены, почти у самой трассы, стояло Озёрное время и неодобрительно покачивало головой, так медленно, будто наворачивало украденное Букой. Потом оно указало пальцем на наручные часы и отошло в сторону, театрально приглашая кого-то. Из-за стены торжественно выехал веселый оранжевый «Камаз».

Глава 6. Император

Бука сидит на простых деревянных качелях, держась за канаты и слегка покачиваясь. Странно только то, что ноги качелей все время растут и постепенно уносят ее вверх. Озёрка, трасса, Стёпа, «Камаз» — все становится маленьким, ненастоящим, а времени и вовсе не видно — ни там, ни здесь — среди нежной синевы и пушистых белых облаков. Хорошо и спокойно, почему-то пахнет сон-травой, хотя на земле у нее вовсе нет никакого запаха. Бука понимает, что может сойти и пробежаться по облакам, но пока не хочет: на качелях удобно. Качели останавливаются напротив большого белого облака, из которого исходит какое-то неземное сияние. «Конечно, неземное, дурачок, ты что — на Земле?» — говорит себе Бука и тихонько смеется.

Сияние тоже... будто смеется.

— Ты — Император?

— Ну, какой я тебе Император. — Хочешь — возвращайся, а хочешь — оставайся здесь. Человеку всегда лучше там, откуда он.

Бука улыбается, но тут же сдвигает брови.

— Зачем ты выжигашь цветы?

— Я не выжигаю. Я создал их, грею и ласкаю. Выжигает их жажда.

Сияющий луч мягко проводит по ее лбу, разглаживая упрямую складку. Бука догадывается:

— Я тоже цветок?

— Тоже.

— И ты не будешь меня выжигать?

— Ты где-то видишь паяльную лампу?

Этого Бука совсем не ожидала и громко рассмеялась.

— Ты шутишь совсем, как папа. Но знаешь больше. Скажи, пожалуйста, как обмануть время?

— Не обманывай его, и тогда оно тебя не обманет. Вот и все.

— А что такое правда? Она есть?

— Есть, Бука. Правда — это когда любишь.

Бука немного раздумывает и говорит:

— Тогда я пока пойду туда. А потом мы вместе к тебе придем. Если... можно.

— Ты хорошо знаешь, что все, чего по-настоящему хочешь, — можно.

— Как это — «по-настоящему»?

— Значит — сердцем. Сердце не хочет зла.

— Знаю, — кивает Бука, — оно от него болит. Ты опять говоришь, как папа... это ты меня тогда спас от клаустрофобии? — осеняет ее.

— Мы вместе. Я всегда с тем, кто любит.

— С тобой хорошо, Император, — серьезно говорит Бука. — Я им всем расскажу, как быть с тобой.

— Они не поверят тебе. Они думают, это очень сложно. Но я буду рад, если ты постарайся. И еще я хотел тебя кое о чем попросить.

— О чем?

— Никогда не думай, что тебя нет. Сказать так — все равно, что сказать, будто меня нет. Это, честно говоря, немножко обидно.

Бука задумывается.

— И наоборот?

— И наоборот. Сама ты, Бука, самая умная в мирах!

Бука смеется и отвечает:

— Это оттого, что я вся в тебя. Я обещаю, обещаю больше никогда не думать, будто меня нет! Я теперь точно знаю — я — есть!

Глава 7. Я есть

Бука проснулась, но не открыла глаза. Во рту перекатывались две бусинки, и, как это часто с ней бывало, она не могла вспомнить — откуда они там взялись. «Я есть... я есть... я есть... ну, это правда, и чего?» И вдруг поняла:

— Ма-ама... Мам, я есть хочу!

Мама заплакала и сказала:

— Слава Богу!

Лес или книга

«Говорят, память похожа на лес, — подумала Бука и посмотрела в потолок. — да, г о в о р я т. Еще говорят — впереди леса нет. Он вырастает за тобой следом, когда ты просыпаешься утром и делаешь разные вещи. Чистишь зубы — вырастает травинка, помогаешь маме — красивый куст, получаешь щелбан от Жорки — колючая корявая ёлка. А ночью, когда ты не можешь делать вещей, ты остаешься в этом лесу один, и лучше бы тебе поскорее уснуть, потому что травинки и кусты почти не видны, а жуткие ёлки машут лапами и тянутся за тобой, как будто хотят задушить».

На самом деле никто так, конечно, не говорил. Но Буке было приятно всюду прибавлять эти слова — говорят, пишут, считается, а самое лучшее — «по мнению ученых». Эти слова утяжеляли ее собственные, ничтожные и глупые, которым никто никогда не поверит, над которыми можно смеяться сколько влезет. И получалась — речь, впереди идет мощное, солидное и внушительное, как завуч Валентина Павловна, «говорят», и никто никогда не посмеет ему перечить, боясь, как бы самому не оказаться глупым, ничтожным и смешным.

На потолке качались голые черные ветки. Бука забралась с головой под одеяло и попыталась найти хоть какую-нибудь завалившую березку или багульник, чтобы укрыться под ними до утра. Но внезапно на пути оказалась мысль «завтра в школу», Бука споткнулась об нее, как об огромную корягу, и полетела вниз головой в дремучую пропасть сна.

Летела она медленно и недолго — рядом прорисовался силуэт Жорки, схватил ее за руку, затянул наверх и громко зашептал: «Букаш... пошли, Букаш. Ты нам нужна».

— Кому это вам? — спросонья не поняла Бука. Она забыла, что у Жорки часто оставался поночевать и поиграть в приставку Сашок Голубев, и сегодня тоже. — А-а... А зачем?

— Мы играем в доктора. Нам нужен этот... пацэнт. Я доктор, а Сашок помощник, а пацэнта нет, понимаешь? Поможешь?

— Угу...

Толком не понимая, зачем Жорка и Сашок играют ночью, да еще и в доктора, когда они такие большие, Бука понимала, что голос Жорки звучит ласково, чего она никак не могла припомнить раньше. И она может им помочь. Которую днем только вышвыривают из-под ног, как помоечного кота. Они тихонько прокрались по залу, в котором после суток спала мама, и зашли в Жоркин «бункер». Там у Сашка было уже все готово, но он был сильно бледный и как-то суетился глазами. Над кроватью наклонилась большая круглая лампа, а посреди кровати лежала большая белая подушка и куча карандашей — больших и маленьких. Жорка сказал:

— Снимай трусы и ложись.

— Зачем трусы?

— Затем, что надо слушаться доктора, Бучочек.

Бука стеснялась Сашка, но сделала, как просили. Теперь она лежала под лампой, и лицо у нее было очень красное.

— Сашко, давай я буду лампу держать, а ты — карандаш, — доброжелательно сказал Жорка.

— А чё сразу я? — начал Сашок, и осёкся под Жоркиным взглядом. — Ладно. Только давай сначала посмотрим.

И они поднесли лампу совсем близко, туда, где раньше были трусы. Бука очень удивилась: в лицах обоих мальчиков было странное и жуткое выражение необычайного интереса и еще чего-то, и у них открылись рты, как у мертвых карасей.

— А где волоса? — спросил Сашок, сглатывая сухую слюну.

— Ты чё — дебил? Ей же десять лет.

Бука села и сильно наклонилась, пытаясь рассмотреть, что они там увидели. Но ничего необычного не было. Ей стало стыдно и страшно.

— Что там? Я что — болею?

— Букашечка, да не бойся! Ты немножко болеешь, мы сейчас тебя вылечим, только лежи спокойно, не двигайся. — Давай, Сашко.

Сашко неуверенно взял карандаш и стал его засовывать. Бука закричала от боли, но Жорка вовремя придавил ее второй подушкой. Жорка был старше на четыре года и здоровый, как лось, но от страха в Буке проснулись дикие силы, она вырвалась и побежала в комнату, и только там, зарывшись под одеяло, заплакала. В голове стучалось сердце и страшная мысль — что, если мама узнает?

Жорка просунул голову в дверь и громко прошептал:

— Хана тебе, если она узнает.

* * *

— Дочь, ты что такая бледная? Не выпалась? Опять, небось, в туалете читала? Не доведут тебя до добра эти читочки, и так уже ничего не видишь со второй парты. Положить еще оладушек?

— Не, ма, я пошла. Спасибо.

— На здоровье, цыпленочек. Пойду нашего фашиста разбужу, а то Сашок уже давно ушел, а этот дрыхнет. Был бы жив отец, уж всыпал бы ему вдоль вонища, а так... Жора! Жорес, хватит вылеживаться! Ты, ирод, в школу пойдешь когда-нибудь или нет? Или это я опять пойду в детскую комнату милиции позориться?

Бука надела ранец, села в прихожей и стала медленно шнуровать ботинки. Сейчас Жорка будет материться, а потом все равно никуда не пойдет. Она знала, что он больше никогда не пойдет в школу, потому что там скучно и там он всех презирает. У нее было наоборот.

* * *

Снег на темной утренней улице шел наоборот. Его выдувало из асфальтовых трещин, заметало змейкой, сыпало в лицо. Бука шла, не поднимая головы, по старому

знакомому маршруту и пыталась понять, что это за «ло», которое совершает все эти действия. И потом, когда оно утихнет и ляжет спать, окажется ли оно в лесу своей памяти, и как будут выглядеть его деревья? Не будет ли ему стыдно за то, что оно мешает... И тут она поняла, что Ло — это Ветер. Что у всякого Ло или Лось есть свое имя... существительное, но людям, наверное, проще называть его коротко или вовсе не называть, чтобы... меньше думать? Показывать ему презрение? Какая разница ветру, что думают о нем люди... И нет у него леса памяти, я слышала, как он засыпает и как спит, и можно сказать совершенно определенно — Ветру хорошо.

— Говорят, Ветру хорошо... — неслышно для себя произнесла она вслух.

В ответ всё вокруг громко засмеялось.

— Чё-чё? Ой, не могу! Слышь, чё шизанутая гонит! А-ха-ха-а-а!

— Это тебе мамочка такой четкий свитер связала, да? Блин, пацаны, отвечаю, это ей мамочка связала!

— Или бабуля! А-ха-ха-а-а-а! Дашь погонять, длинная?

— На дискач сходить!!

Вокруг носились птицы враждебного смеха, били по плечам, дергали за хвост. Бука увидела, что она стоит на лестнице, закрывает одной рукой желтые вязаные розы на свитере, а другой — очки, потому, что их могли разбить, а на новые у мамы нет денег. Люди не пропускали ее, а ждали, пока она разозлится. В этот раз она совсем не злилась, но понимала, что сейчас прозвонит звонок и надо быть в классе. Тогда она набрала полные легкие воздуха и оглушительно заорала:

— Пошли во-о-о-о-он!

Крик смешался со звонком и воплями человеческого восторга. Лестница быстро опустела, и Бука понеслась наверх.

* * *

Уроки — благословенное время. Обстоятельства сжимали людей в тиски и усаживали за узкие низкие парты. Первое время людям было плохо, они томились. Потом — кто как. Отличники относительно быстро включались в процесс, середняки тренировали характер, влекущий их взоры и сердца на «камчатку», «камчатка» медленно смирялась и затевала карточные битвы, морские бои или футбол ластиком, словом, употребляла все силы на примирение с ненавистными обстоятельствами. Это тоже было полезно. Изредка кому-нибудь в ухо прилетала бумажная пуля.

Бука блаженствовала. Время, которое большинство ее одноклассников воспринимало, как крестьяне — барщину, было для нее временем освобождения и примирения. Если был урок истории, географии или литературы, время вообще исчезало. Лес памяти за спиной превращался в диковинный сад: там вырастали краснокожие марокканские апельсины, Красные и Белые розы, изобильные яснополянские яблони, маслянистые желтые купальницы окских излучин.

Исключение составляли уроки математики. Угрюмая и невнятная поросль цифр на доске стлалась, что характерно, впереди коварной карельской березкой — в ней вязли ноги, Бука спотыкалась и продиралась сквозь нее только напряженным усилием воли. Поминутно накатывали тоска и отупение. Но и это было неплохо: она лучше понимала своих одноклассников, смотрела в их тоже по большей части унылые и страдальческие лица и видела каждого по отдельности; приходило странное, горько-приятное чувство братства.

Но звенел звонок, и этому иллюзорному братству приходил конец. Восстанавливалось нерушимое братство всех против одного — «братство во Иуде», как шутила маленькая старушка-историчка. На перемене лучше всего было сидеть себе за партой и не высовываться. Донимавших ее одноклассников и мелюзгу из начальной Бука не очень боялась. В какой-то момент надо было просто подыграть им — взрывать буйно-помешанным медведем и сделать вид, что ты их сейчас сожрешь. Конечно, они

говорили обидные слова и норовили напакостить, но Бука смирилась с этим во избежание более серьезных проблем. После исполнения ритуала к ней на время теряли интерес.

Главное — не попадаться на глаза Калгану и компании. Когда Жорка еще ходил в школу, Калган был его лучшим другом — они вместе отнимали у мелюзги деньги, били опущенных и ходили на стрелки. Буке жилось гораздо спокойнее, и даже бумажная пуля, пущенная ей в ухо на уроке, означала только внутриклассовое равноправие. Когда Жорка ушел, Калган развернулся и стал единоличным властителем невеселых дум несчастной мелюзги и завуча Валентины Павловны. Жорка с друзьями переключился на улицы района и продуктовые склады, но по-прежнему претендовал на половину денег, вырученных Калганом в родной школе. Возмущавший Калган оказался против, и Жорка поставил его на счетчик. Завязалась лютая вражда.

Дерево их вражды пускало корни по горизонтали. Не стоило оборачиваться, чтобы убедиться, что зловещий побег тут как тут. Он поблескивал шипами и ядовито отплевывался, но пока держал нейтралитет.

* * *

Как обычно, после уроков Бука зашла в библиотеку. Библиотекарь заменила старые книжки на новые, выбранные почти бездумно.

— Леночка, ты же уже брала Гофмана?

— Угу.

— Так зачем он тебе опять?

— Так. Чтобы помнить.

На самом деле Бука не заметила, что снова взяла уже читанную книгу, но была рада. Если перечитываешь хорошее, возвращаешься в свой старый лес, туда, где было хорошо. Это можно только с книгой. Там остается все как прежде. А если будешь читать без перерыва, позади тебя может вырасти непрерывный сказочный мир. Если не давать времени своим деревьям, которые вырастут неизвестно какими, и чужим, которые вообще вырастают без спроса.

Она не знала, чьего появления боится больше. На улице сильно похолодало.

— Говорят, тебя собственный братец отчпокал, очкастая? Как, понравилось? Еще, наверно, хочешь?

Четверо загоготали и застонали на разные высокие голоса. Калган поигрывал ножиком и смотрел на нее, как на голую. У Буки брызнули слезы и перехватило горло от страха, но она крикнула:

— Ты дурак! Врешь!

— Да ла-адно, нам Голубок все на хвостике принес! Теперь коробочка открытая, че уж там ерепениться, цыпленочек!

Гогот усилился, и кольцо вокруг Буки сжалось. Она поняла, что нужно прорвать его прямо сейчас, наклонилась и рванула на таран, туда, где стоял самый маленький и тощий семиклассник Шкет. Шкет, неожиданно и мощно боднутый в живот, охнул и сложился пополам. При этом с Буки слетели очки, и она побежала, не разбирая дороги, к узкому проходу между гаражами.

— Ах ты, сука! — изумился Калган, — держи ее, ребя!!

Но Бука недаром была выше всех в классе. Не добежав нескольких метров до большой улицы, калгановские оставили ее. Только разъяренный Шкет непонятно как успел дать очень сильного пинка перед тем, как она, поскользнувшись, упала на тротуар.

* * *

«Значит, в самом начале я стояла в пустой полосе. Ни до, ни после меня ничего не росло. Потом я сделала первый шаг, и пошло. Пошло расти. Значит, теперь надо

идти назад. Как будто переворачиваешь страницы наоборот, с последней до первой... Как будто это книга? Это книга или лес? Всё равно. Надо выбираться».

Бука лежала в горячей ванной. Ныли разбитые коленки, сильно болел копчик, и перед глазами трескалось пространство, тонкие черные линии расплзались одна от другой. Но она мало обращала на это внимание — она листала страницы и отходила назад. Важно было ничего не забыть, забытое слово-дерево могло приманить тебя снова вперед, отложить и запутать возвращение.

Когда она добралась до последнего воспоминания, вода в ванной уже совсем остыла. Зато исчезли черные трещины, стало возможным даже разглядеть маленькое пятнышко ржавчины над тем концом ванной, куда упирались ноги. Она стала неотрывно смотреть на пятнышко и говорить внятно, медленно и раздельно: «Дальше я ничего не помню. Меня больше нет».

* * *

Очнулась она от боли. Какая-то женщина, громко плача, била ее по щекам и кричала: «Лена!!! Лена!!!» Какая еще Лена? Бука ничего не понимала и с изумлением оглядывалась — вокруг была комната. Знакомая и незнакомая. Если сильно приглядеться, женщина тоже была знакомая. В комнату вошли двое в белом и спросили, что случилось.

— Я захожу — она лежит, глаза открытые, рот открытый, синяя вся. В ледяной воде! Что это с ней? Она придет в себя? Она нас слышит? Доченька, ты нас слышишь?!

Потом ей поставили укол, и, прежде чем полностью провалиться в белую вату, она с отвращением вспомнила, кто такая Лена.

* * *

Прошла уже почти неделя, а мама все не приходила. Бука старалась не плакать, потому, что маленькой Ирке, соседке по палате, начали давать в два раза больше таблеток оттого, что она начала денно и ночью реветь. Теперь Ирка денно и ночью спала. Но Ирка была детдомовская, ей было некого ждать, а Бука боялась проспать маму. Она боялась этого так, что уже даже не могла уснуть ночью. Просто сидела в темноте и не оглядывалась на притихший за плечами лес. Она прошла его туда и обратно, и он ей опротивел.

Вдруг послышалось приглушенное, но отчетливое хлюпанье носом.

— Ир?

— Че... чего?

— Чё ты реवेशь?

— Я пи-и-сать хочу.

— Так сходи.

— Медсестра там на посту... она ругает, когда ночью ходят...

— Писай, значит, в кровать.

— У-у-у-у-у-у....

— Нет, послушай, ты писай! Санитарка же тетя Маша, она хорошая. Не будет на тебя ругаться.

— Завтра разве тетя Маша?

— Ну. Давай.

Через некоторое время Ирка облегченно вздохнула.

— Ир? Расскажи про свое самое страшное воспоминание.

Ирка немного помолчала, а потом высморкалась.

— Я тут же лежала, в этой больнице, летом. Только в другой палате. И мне опять ночью писать захотелось сильно. Я хотела прокрасться, чтобы медсестра не заметила, а потом увидела, что она вообще спит. И пошла. Подхожу, а там это...

— Что?

— Там же дерево растет рядом с окном, ветки почти в форточку залазят. И туда прилетела кукушка и начала орать человеческим голосом. Прямо в окно. И я боялась, что все сейчас проснутся, и медсестра, и все. Даже в ушах зазвенело от ее кукуканья. Но я-то писать так хочу, что могу прямо возле туалета... И я зашла. И сделала. А она была там и кричала, как будто хотела влететь. Вот. Может, это вообще была не кукушка.

— Конечно кукушка, глупыш. Ты молодец, что туда зашла. А то была бы трусихой.

— Я и сейчас трусиха.

— Нет, ты не трусиха, а плакса. И я тебе сейчас кое-что расскажу, чтобы ты больше не плакала. Хорошо?

— Ага.

— В другом мире есть большая-большая равнина без леса. Там растет только одно огромное Дерево — посередине. Вдалеке по краям равнины стоят прекрасные дома с садами, в них во всех живут садовники со своими семьями, и каждому живущему там хорошо. Они любят свои растения, и растения, чувствуя это, дают сторичный плод.

— Какой?

— Сторичный. Значит, в сто раз больше, чем могли бы. Не мешай. Все поле засеяно золотистой пшеницей. Жители растят ее вместе, и она приносит хороший урожай. Его всегда делят поровну, но только после того, как прилетает Большая Птица. Большая Птица прилетает один раз в год, как раз перед жатвой. Она садится на Дерево и ждет наступления ночи. В этот вечер все зажигают свечи и лампы на верандах, а малышей не отправляют спать. Весь мир молчит, и к двенадцати часам даже самый распоследний кузнечик замолкает в ожидании.

В полночь Птица начинает петь. И клянусь тебе Богом, что никто из смертных никогда не слышал такого пения. Высоко в небе на облаке лежит луна и не может оторвать глаз от той самой высокой и красивой ветки, на которой поет птица, и не может сдерживать слез. Слезы луны превращаются в жемчуг и падают в пшеницу. Люди, звери и насекомые тоже плачут. Но они плачут не так, как ты из-за кукушки. Это слезы сострадания, горькие, но целебные. Целый год птица, невидимая, летала по Земле и слышала, как плачут живые, как бьют маленьких и больших, как у малыша сбивают собаку, как водитель не успевает приехать и у него умирает жена, как плачут на помойках брошенные коты и те, чью маму увозят в тюрьму. Целый год зреет у нее песня, и когда чаша ее скорби переполнится, она прилетает в тот мир и поет обо всем, что видела, и голос ее слаще ирисок и грустнее колокольчиков. Потом она слетает вниз и начинает клевать пшеницу. И от каждого съеденного ею зерна чье-то земное сердце утешается, малышу снятся волшебные сны, а котка находит и берет домой добрый человек. Но хоть птица и очень большая, она не может склевать столько, чтобы утешить всех на Земле. Кто-то не получает утешения.

— Кто?

— Тот, кто не простил обидчика. Кто отомстил. И кто решил больше не жить.

— А потом?

— Потом птица залетает в дупло и ложится спать. Ей нужно отдохнуть, ведь впереди целый год. Луна засыпает на облаке. Взрослые укладывают малышей и тоже ложатся спать. Только лунные жемчужины поблескивают среди золотой пшеницы.

— А куда они потом деваются?

— Женщины собирают их утром и делают ожерелье. Оно достается первой девочке, родившейся после этого.

— Что это за девочка?

— Девочка, которая раньше жила на Земле и очень много плакала от горя. Когда она рождается там, она все забывает, у нее есть мама, папа, братья и сестры. Сад, качели, куклы, шоколадки. Все, понимаешь? Только ожерелье на ее шее напоминает всем вокруг, что нельзя делать зла. У тебя тоже такое будет. Спи.

* * *

Утром сонная Бука тащилась в умывалку, и вдруг услышала несравненный, самый прекрасный запах в мире — запах маминых духов.

— Мама!

Она пронеслась по коридору, едва касаясь линолеума, и обняла маму что есть мочи. Еще от нее пахло снегом и грушами. Она плакала, но не так, что рада видеть Буку. Ее большие красивые глаза были все красные и опухшие. Она плакала давно.

— Что, мам?

— Ничего, глупыш, на грушу.

Бука села рядом на пуф и крепко обняла маму. Другой рукой она держала сочную желтую грушу.

— Почему ты так долго не приезжала?

Мама пошарила в сумке и вынула Букины очки — треснувшая оправа была аккуратно обмотана черной изолентой.

— Это тебе Жорка передал. Его в тюрьму посадили.

Она зажала себе рот рукой, чтобы не зарыдать в голос. Бука надела очки и посмотрела в окно — снег шел так медленно, ровно и густо, что даже в них невозможно было разглядеть ни одного дерева.

Линия антарктической конвергенции

«Границу проводят по линии схождения теплых и холодных поверхностных вод...» — было написано в папином журнале, а рядом — отметка синей ручкой — 48-60°С. Журнал был очень старый, Бука была очень молодая, а папы уже не было. Она вытащила ластик и посмотрела на свет: синева в папиной ручке тоже скоро должна была закончиться. Бука пожалела, что записывала этой ручкой слишком много ерунды и решила, что отныне этой ручкой будет записываться только то, чего еще никто никогда не записывал. Например, ее завещание. Она легла на старую карту на полу и начала писать черновик — пальцем в воздухе.

— Бук?

— Чего?

— Всё нормально?

— Ну да, а чего?

— Мне показалось, ты тут с кем-то разговариваешь.

— Не, я просто думаю. Мам, а я скоро выйду на пенсию?

Мама засмеялась.

— Не скоро, глупыш. Что это тебе взбрестило?

— Жаль. Я бы вышла. В школу не ходить.

— Ты и так не ходишь, каникулы же. Можешь считать, что уже вышла, понарошку...

— Понарошку — это отстой.

— Где ты такое дурацкое слово откопала? Вроде, Жорка уже год, как сидит. Все Юлька твоя, бичушка. Баба Тома говорит, что она уже курит.

— Баба Тома сама курит.

— Знаешь что? Баба Тома уже на пенсии, может делать, что хочет.

— Вот я и говорю.

Мама снова засмеялась.

— Ох, горюшко, чего только у тебя в голове ни понапихано. То про какую-то конвергенцию бубнишь, то про пенсию, то про отстой. Вся в папочку.

— Кон-вер-ген-ции. Ли-ни-я ан-тар-кти-чес-кой.

— Пошли, вишню поможешь чистить, конвергенция. А то будет тебе отстой, а не варенье.

* * *

Вишня была рыночная — черная и сладкая. Такой можно съесть тонну и не объесться.

— Ну-ну, не налегай. Надо Жорке хоть баночку передать. Я тебе потом пенку дам, съешь. Только сначала на торгушку сходишь? Я пока сварю, а ты полтора-два часика посидишь, да?

Бука приуныла.

— Дочь, ну надо. Ты уже большая, понимать должна. Кто нам что...

— Да знаю, знаю.

Иногда Буке и вправду казалось, что она уже не то что даже большая, а очень старая: так много она знала. Что зарплату задерживают, что за квартиру давно не заплачено, а ее надо собирать в школу, а Жорку без сигарет тоже не оставишь, а в собесе сидят одни скоты.

А на ветке рябиновой сидят одни дрозды. Пестрые дрозды с бусиничными глазами — с хохолком и гонорком, сытым рябиновым говорком. Им плевать на собес — рябиновой косточкой. А я сижу в лодке. Или лежу. Я плыву с самого мыса Доброй Надежды, Надежды на Чудо, и надеюсь, что вот-вот увижу Линию Ан...

— Сдачу возьми на всякий случай.

Бука ссыпала в карман мелочь, взяла алюминиевый тазик, складной стульчик и большой пакет с семечками — где-то внутри него утопи мерные стаканы, как смешные стеклянные суда, посмевающие выйти в открытый океан с Мыса Доброй Надежды.

* * *

Неподалеку от автобусной остановки стоял киоск «Союзпечать». Неподалеку от «Союзпечати» стоял овощной ящик, и на нем — на толстой мокрой кипе газет — два жирных хариуса, щука и ведерко с мелкими карасями. В тени «Союзпечати» сидел на корточках маленький, седой и лохматый дед Костя. Он считал выручку на ладонях и довольно хихикал.

— Привет, дед Кость.

— Внуча! А я тебя жду-пожду, думаю, где там моя спасительница. Я ж с утра маковой росинки не брал, видала, каких голубей споймал? А бабка моя где-то тут шмыряет, житья не дает, весь уж семью потоми изошел. Выручишь? Я мигом!

— Давай. Только ты, правда, мигом, а не как в прошлый раз.

— Что ты! Что ты! Я тока писярик опрокину и мигом сюда!

Дед Костя подобрался и побежал в переулок, как молодой. Даже хромота куда-то подевалась.

— Деда! А хариусов — почему?

— По двадцатке, внуч! — прокричал он уже из-за поворота. — Бабка наказывала по двадцатке, не меньше!

Ничего такого бабка, конечно, не наказывала. Хариусы, хоть и жирные, как поросята, лежали на июльском солнцепеке с утра, а сейчас обед, и тень на «Союзпечать» легла совсем недавно. Серебристые жабры речных поросят заметно потускнели, и больше пятнадцати рублей за них нынче никто не даст. Но дед Костя хотел навариться и сэкономить на маковые росинки втихушку от бабы Тома. Вот что делает с человеком жажда.

А пахло хорошо. Над киоском нависла старинная медовая липа, от рыбы шел вкусный речной дух, «пазики», подъезжая к остановке, источали горячий бензиновый дурман. Парил асфальт, и очень подходил к нему сытный густой запах жареных семечек. Погодка что надо... для мыса Доброй Надежды. Для того, чтобы отчалить от его раскаленных берегов.

Бука высыпала семечки в таз, разровняла горкой и, зачерпнув с лихвой, укрепила на вершине два разновеликих стакана — по два рубля и по три пятьдесят.

* * *

Прохожих было маловато. Два раза купили по двухрублевому стаканчику, один раз какая-то женщина купила большой и через несколько минут вернулась с кульком — сказала, что горелые. Бука отдала ей деньги и приняла кулек назад — в нем оставалось чуть меньше половины.

Жара давала запахам силу — они росли, плавись, текли прямо в голову мягкими душистыми волнами. Значит, лодку относит назад к мысу, к родному черному континенту, но — пусть — время никуда тебя не торопит, ему тоже жарко, отчалим в ночь, когда над мысом повиснет прохладная хрустальная звезда.

— Почем зубные мандавошки, малая?

— По пять, — сама не зная почему, лягнула Бука в ответ. Это были два больших пацана в адидасках, они появились из-под земли, и один уже запустил в тазик худую загорелую руку с грязными ногтями.

— По пять? А не многовато ли для такой мелкой мандавошки, как ты?

Второй заржал и высыпал большой стаканчик в карман. Первый, бритый, забрал у него стаканчик и внимательно на него посмотрел.

— Слышь, здесь же цена приклеена, малая? Так ты еще и туфтогонка? Ты, в натуре, дядю Славу обидела. Слышь, Гэца, а что бывает с теми, кто дядю Славу обидит?

Второй зачерпнул, высыпал на землю второй стаканчик и харкнул в то место, куда высыпал.

— Вот так бывает. Можно еще насрать.

— Пра-а-вильно. А показать тебе, сука, как еще бывает, или ты извинишься?

У Буки отсох язык. Она хотела извиниться, но не смогла. Бритый размахнулся ногой и пнул Букин ящик, семечки полетели ей в лицо, тазик упал и оглушительно загремел.

— Ах вы, скоты! — тонко закричал выносимый из-за поворота дед Костя. Пацаны шухарно переглянулись, а потом заржали и засунули руки в карманы трикушек. Деда Костю несло, как океанский смерч, — мотало из стороны в сторону.

— Я тебе, падла, покажу, как над ребенком издеваться! Ну-кась все собрал! Мигом!

Дед подбежал к бритому и схватил его за шиворот. Бритый аккуратно убрал дедову руку с воротника и наотмашь ударил кулаком в лицо. Второй пнул под дых. Согнувшись, дед упал на ящик с рыбой, но устоял на коленях и локтях и попытался вдохнуть. Его начали пинать в живот.

— Че, старый, охренел?! Ты охренел на Славу грабки распускать? Ты нахерачился, так смелый стал? Ты, сука, щас кровью будешь блевать!

Бука смотрела, как парализованная, но внутри росло страшное, внутри рос деда Костин смерч — он исчез между двух скал, но нашел ее и оглушительно засвистел в ушах. Плохо соображая, она схватила большой стакан, прыгнула на бритого сзади и начала лупить его по голове, крича и не слыша себя из-за свиста:

— Не трожь! Не трожь! Не трожь!

Стакан хрустнул в руке, брызнула кровь, кто-то, кажется второй, стал отдирать ее от лысого, но она, даже если бы захотела, не могла разжать пальцев. Вокруг собралась небольшая толпа, издали засвистели.

Бука получила тазиком по голове и упала на спину. Двое проскользнули в толпу. Седая старушка обтерла лицо платком и сокрушенно сказала:

— Кого только манда не понарождает.

* * *

— Что вы тут столпились? Не налюбовались?!

Толпа начала расходиться.

Мама подняла Буку и, причитая сквозь слезы, стала убирать волосы с ее лица.

— Доченька моя, больше никогда-никогда не пойдешь, обещаю, лучше я еще смену возьму... Ироды проклятые... Фашисты... а ты, старый, нажрался и не мог ребенку помочь? Валяешься!

Вокруг деда Кости уже суетилась баба Тома, сокрушительно матерясь и пытаясь подхватить его за битые бока. Дед только стонал и кряхтел, но встать не мог.

— Не надо его ругать! Он меня защитить хотел, а они его побили!

— Мало побили, собаку! Мало! Свежаком за версту несет, когда успел? «Пися-а-арик!» Я тебе покажу «писярик!» Деньги пропил, рыбу просрал! Ребенка подставил, герой! Попомнишь ты мои слезы! Перед Богом будешь отвечать за жизнь мою загубленную! В церкви весь лоб об пол рашшибешь, да поздно будет! Ох, мудила-а-а....

Баба Тома сдалась, села рядом на асфальт и заплакала. Мама собрала «торгушку», собрала в ведро дедову рыбу и повела Буку на колонку — мыть порезанную руку. Вода была такая ледяная, что руку почти не шипало. Бука напилась из маминой горсти.

— Мам?

— Что, мой цыпленочек?

— Они деда сильно пинали. Его надо к врачу.

— Ничо-ничо, оклыгает. Пить запоями у него есть здоровье.

Они вернулись к «Союзпечати». Мама подхватила деда с одной стороны, а баба Тома с другой. Бука взяла ведро с рыбой в целую руку и пошла впереди.

Возле подъезда стояла Юлька и улыбалась так широко, будто отсутствие двух передних зубов — самый распрекрасный для этого повод.

* * *

— О, еще одно горе луковое, — сказала мама, улыбаясь. — Пойдем, пойдем. Мы, видишь, только с поля боя, раненого тащим. Зато у нас варенье есть.

Деда Костю кое-как заволокли на второй этаж и положили в кухню на диванчик. Он уже и вправду оклыгал, но продолжал не слишком натурально постанывать в ожидании маковой росинки, которая ему теперь, конечно, полагалась. Баба Тома ласково прикрикнула:

— Лежи-кась, старый хрен! Опрокинул уж, так что самого опрокинули. Сначала карасей нажарим.

Мама перевязала Буке палец и дала целую миску вишневой пенки — воздушной, карамельно-розовой — и две ложки. Они с Юлькой зашли в комнату, Бука протянула ей ложку и только тут заметила, что она продолжает так же широко улыбаться. Бука поставили миску на стол.

— Ты чего?

Юлька ничего не ответила, но из глаз у нее покатались слезы. Буке стало жутко. Она обняла ее за плечи и усадила на кровать.

— Юль, ты чего?

— Я мамку убила.

На кухне загремела посуда.

— Она на смене ночью была, а он меня взял в кровать. Она раньше пришла на полчаса, подменили раньше. И она зашла, а он там со мной. Она села на пол, а он убежал.

— И все?

— Нет. Она меня взяла за руку и в ванну завела. Дверь закрыла. Скрутила петлю. Из бельевого веревки. И удавилась. Иди посмотри, если хочешь.

— Ты не виновата.

— Виновата. Она говорила, что удавится, если узнает.

Юлька сползла на пол, скрутилась волчком и завывала. Бука забралась с ногами на подоконник. Она попыталась придумать дело, но в голове вертелась только паршивая линия антарктической конвергенции, от которой теперь не было никакого толку. В кухне сухим надтреснутым голосом запела баба Тома.

- Вставай, пойдем.
- Куда?
- В церковь пойдем. Ты там у Бога спросишь.
- Про что?
- Про лоб. И вообще.
- Они постарались потихоньку миновать прихожую.
- Дочь, вы куда?
- Гулять, можно?
- Давай, только недолго, а то караси скоро пожарятся.
- Шли долго. Сначала молча. Юлька шмыгала вечно простуженным носом.
- Откуда ты знаешь, как идти?
- Мы там уже два раза были. На Пасху.
- Как Он выглядит?
- Кто?
- Бог.
- Я не знаю.
- Ты же говорила, Он там?
- Ну... Может, Он выходил. По делам. Что, думаешь, у Него дел мало?
- А вдруг сейчас тоже не будет?
- Будет.
- А как мы Его узнаем?
- Он там главный.

Когда они вошли в церковь, Юлька увидела большого красивого старика в золотых одеждах, побежала к нему, обняла, и заревела, уткнувшись в эти одежды. Он взял ее за руку и повел к скамейке. Они долго и очень тихо говорили, старик гладил ее по голове, а потом перестал. Бука подошла к женщине за прилавком.

— Извините, пожалуйста, а где Бог?

Женщина удивленно сдвинула брови, а потом тихонько засмеялась.

— Здесь, — указала она пальцем на Букины ребра, — здесь. Поэтому Его не видно.

* * *

Дома было тихо. Мама спала на кухонном диванчике. Под столом лежала пустая бутылка, а на столе — сковородка с печальными коричневыми карасями. Бука тихонько собрала мусор и объедки, выкинула в ведро и поставила посуду в мойку. Потом она прикрыла маму пледом и выключила свет.

Вишневая пенка осела и затвердела, но все равно была очень вкусной. Бука забралась в кровать и попыталась продолжить мысль о линии. Ей пришло в голову, что по-настоящему о линии знал только папа, и если бы его можно было расспросить...

Миска выскользнула из ее рук и гулко ударилась о дно лодки. Бука подняла глаза и увидела папу, молодого, сидящего на перекладине и улыбающегося. Она бросилась к нему и обняла.

— Тише, тише, глупыш! А то еще перевернемся...

Бука огляделась — вокруг переливался Океан.

— Ну, и где линия антарктической конвергенции?

— Это я тебя хотела спросить.

Папа засмеялся и плеснул в нее воды, зачерпнув с правого борта. Вода была теплая. Она тоже засмеялась и зачерпнула с левого — руку обожгло холодом, и сильно заныл порез. Бука перегнулась через нос и удивленно взглядела в воду, но ничего не увидела.

— Ее не видно, пап... и тебя тоже.

Лодка тихо покачивалась. Бука легла на дно и посмотрела через правый борт в оранжевое вечернее небо, туда, где робко прояснялась прозрачная звезда — наверное, где-то в той стороне был континент.